



М. ЙОВАНОВИЧ

Проблема человека в автобиографической прозе свящ. П. Флоренского

I

Исследователи творчества Флоренского справедливо полагают, что автор сочинения «Столп и утверждение Истины» «не успел в полной мере опубликовать своей антроподицей», в силу чего «реконструкция его учения о человеке является трудной проблемой» *. Основы антроподицей были заложены Флоренским уже к периоду написания литературоведческого труда о Гамлете, в котором он, толкуя перипетии борьбы в датском принце *христианского* сознания с *родовым*, следовал совету учителей Церкви «искать в Евангелии разрешения каждого жизненного вопроса», поскольку в Новом Завете «есть свое соответствие» для «каждой реальной ситуации» **. По ряду причин, однако, даже в книге «Столп и утверждение Истины» мысли эти не получили законченного вида, и Флоренскому пришлось обещать, что данная задача будет выполнена в ближайшем будущем — в работе «О возрастании типов», которая должна показать, «как же именно возникает идея авторитета Христова» и «как происходит таинственное возрождение души» ***. Поэтому вполне понятно, что

* *Половинкин С.* Введение // Половинкин С. П. А. Флоренский: Логос против Хаоса. М., 1989. С. 3.

** *Флоренский П.* Гамлет // Литературная учеба. 1989. № 5. С. 149, 153 (примечание Н. Бонецкой).

*** Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицей в двенадцати письмах свящ. Павла Флоренского. М., 1914. — Об этом замысле и проблемах его выполнения см. в нашей работе: «Столп и утверждение Истины» П. Флоренского: сюжет, жанр, истоки. С. 24. (Рукопись).

в «Воспоминаниях», охватывающих самый ранний период жизни Флоренского (предположительно до 1898—1899 гг.), не могло быть и речи о более или менее основательной постановке вопроса о феномене Человека, тем более что сама эта проблема («открытие человека как начала познавательного») стала актуальной для Флоренского лишь в его университетские годы*. Несмотря на то что «Воспоминания» были адресованы *детям* автора, они остались незаконченными, причем их сюжет, развертывающийся по следам мифа о Сотворении мира, остановился на самом важном месте — у проблемы Человека, созданного Творцом, и самого Творца. Вследствие этого, а также ввиду авторского стремления «не забегать вперед» в обрисовке своего духовного развития, обзор интересующего нас вопроса по необходимости должен преследовать скорее «негативные», нежели «положительные» цели, т. е. рассматривать в первую очередь причины и соображения, по каким Флоренский в данный период был не в состоянии подойти вплотную к проблеме Человека.

II

В более поздней работе «Homo faber», разбирая вопросы взаимоотношений природы и культуры, космологии и антропологии, Флоренский высказал основополагающую для его философских штудий того времени мысль о том, что «весь человеческий род есть только ничтожная часть природы»; развитие этой мысли в итоге оспаривало определение человека как «homo sapiens», отдавая предпочтение «менее возвышенному» определению его как «homo faber»**. «Человек — ремесленник» — вот ситуация человека в космическо-бытийственных масштабах; он не *творец*, во всяком случае он далек от того, чтобы верховодить законами космического существования. С другой стороны, рисуя пеструю картину человеческой массы в Батуме, ее разных языков и говоров, запахов, звуков и цветов, Флоренский в этом множестве и разнообразии раскрывает *бесконечность* «производительной мощи природы», в творческом отношении стоящей *над* человеком; поэтому *дома человеческие* могут исчезнуть, не оставив ни-

* Трубачев А. Предисловие / Флоренский П. Воспоминания // Литературная учеба. 1988. № 2. С. 146. Далее наиболее важные цитаты из мемуаров Флоренского приводятся по изданию: «Детям моим...». Книга вышла после написания статьи М. Йовановича. (Ред.).

** Флоренский П. Homo faber // Половинкин С. Указ. соч. С. 52, 53—55.

каких духовных следов своего прежнего бытия (как это произошло с батумским домом семьи Новомейских), тогда как духовная жизнь *развалин* «гармонически объединялась с жизнью природы». Отнюдь не случайно Флоренский писал в одном из писем 1904 года Белому: «Мы не можем сочинять символы, они — сами приходят. Когда исполняем *иным* содержанием» *; любой формой творчества человек обязан не столько своим внутренним потенциям, сколько знакам извне, из природы.

В ряде фрагментов своих воспоминаний Флоренский заверяет в своей любви к родителям и родным, однако подобные утверждения суть не что иное, как соблюдение этикета, обусловленное характером и назначением текста. В разделе «Природа» читается, однако, другое. «Я не любил людей, — пишет Флоренский, — т<о> е<сть> не испытывал враждебные чувства, а принимал хорошее, как дышат воздухом, и не устаивал негодованием плохое, поскольку сталкивался с ним скорее отвлеченно, нежели жизненно. <...> Я не любил человека как такового и был влюблен в природу» (Детям моим... С. 70—71). Это признание столь значительно, что требует повторения: «Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимной любовью семье, как наша <...> я, в сущности, может быть, никого не любил, т<о> е<сть> любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа». Известно, что из всех родных Флоренский выделял тетю Юлю, которую он любил «нежно и страстно», но «без внутренней мотивированности, а за ее отношение к природе». В природе (*в веществе*) Флоренский находил то, чего, на его взгляд, не было в людях, — *правду, красоту и нравственность*. По его разумению, люди способны и любить, и не любить в зависимости от их желания, *цветы* же любят спонтанно и бездумно, ибо такова суть природы. Люди вообще страдают одиночеством «на разные лады», они «вредят» друг другу (хотя бы так, как «повредили» автору воспоминаний в его детстве, — «сплошным теплом», «сплошной лаской», «сплошной порядочностью и чистоплотностью»); отправляясь в экзотические края, они поэтому ищут не контактов с другими людьми, а прикосновений природы. «Бежал» от людей и сам Флоренский: в раннем детстве — в объятия природы, в школьные же годы — в науку. Природа, однако, тоже «скрывалась» от людей; один лишь автор был ее «любимцем», ему одному она посылала

* Цит. по: *Хоружий С.* Космос — человек — смертность. Флоренский и орфики // П. А. Флоренский: Философия, наука, техника. Л., 1989. С. 14.

свои «знамения», вследствие чего они с природой «знали, чего другие не знают и знать не должны»*.

Любовь к природе, к «таинственному» и «особенному» в ней, не поддающемуся разгадке, заслонила интерес молодого Флоренского к истории и человеку. «То, что обычно называется “секретами” и “тайнами”, — писал он в разделе «Особенное», — отношения общественные и вообще человеческие, людская сумятица, загадки истории — все это весьма мало волновало меня» (Детям моим... С. 160). Повествуя о своем отце, он лишь вскользь упоминал об «ужасном времени» русской истории — царствовании Александра Второго и «ужасной среде» (Там же. С. 128), окружавшей отца в дни его юности и всей последующей жизни. Осталась также без подробного развития и завершения и мысль Флоренского об «ужасной полосе русской истории» — «нигилизме», искалечившей многих, в том числе родителей Флоренского; их попытка «*семьею* преодолеть *нигилизм*» заслужила порицание, поскольку сами родители Флоренского «выпали из своих родов» и не чувствовали «живой связи с дедами и прадедами», однако тезис относительно этой связи как «точки опоры в истории» оставался неразработанным даже в рамках размышлений Флоренского о собственных генеалогических корнях**. Исключение в

* Поздний Флоренский, как известно, рассматривал любовь не только как «чисто психологическое отношение», но и как «онтологический акт» (концепция *пневмосферы*, в которой любовь видится «созидающей духовной силой»): Гриб С. О цельности в мировоззрении П. А. Флоренского // П. А. Флоренский: Философия, наука, техника. С. 28—29. В «Воспоминаниях», однако, феномену любви отведена второстепенная роль даже как «психологическому отношению». Об эресе упоминается мимоходом, да и то лишь в разделе «Наука»; о «донжуанстве» Ельчанинова, гимназического друга Флоренского, говорится, правда «не грубо» (Детям моим... С. 204), но все же с заметным пренебрежением. Такой статус любви в воззрениях юного Флоренского, по-видимому, следует признать результатом «надорванности» его «внутренних отношений к женскому началу», его «отхода от стихии женской», вызванных неблагоприятными последствиями его контактов с матерью. В дальнейшем Флоренский стал всячески чуждаться «психологизмов» и «духовного мления» и уже в более позднем возрасте, читая Вальтера Скотта, прямо признавался в том, что «любовные вздохи» его героев кажутся ему «бессмысленными», а их «томления» — «неискренними».

** См. недоволощенность хотя бы такой великолепной его мысли данного порядка: «А мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я и где именно находился я в каждый из исторических моментов нашей родины и всего мира, — я, конечно, в лице своих предков» (Детям моим... С. 26).

данном отношении представлял собою лишь экскурс в историю армянского народа (в связи с происхождением рода его матери Сапаровых), оставившего задачи государственного и культурного строительства, потерявшего силы и волю «раскрываться и духовно строиться» и ввиду этого приговоренного к исторической безысходности — к «растворению в других народах» (Детям моим... С. 130). В этом контексте вполне логичным воспринималось утверждение Флоренского о том, что сравнительно с переживаниями, вызванными его «кризисом» 1898—1899 гг. («разлом, разрыв биографии, внезапный внутренний обвал»), «глухо прозвучали во мне разрушение России и наперед уже пережитое разрушение Европы и ее культуры» (Там же. С. 196). В данном случае антитеза *исторического и культурного* оказалась менее важной, чем личная драма человека, боготворящего природу; что же касается уверенности Флоренского, что «начало освобождения и воскресения» в нем самом совпало с историческим «преображением», то она на поверку не оправдалась, сколь бы ни была блестяща его идея о *новой* смене исторического и культурного ренессанса средневековья особого типа.

Своих родителей Флоренский, как уже отмечалось, считал жертвами русской истории; себя же самого ему не хотелось видеть ни среди жертв истории, ни в жестком жернове семейного воспитания. Отцовские замыслы касательно «замкнутого мирка» семьи, «островного рая», «изолированного от окружающего», в котором царили бы «человечность», «теплота» и «мягкость», якобы способные заменить «религиозный догмат», «метафизическую истину», «право» и даже «мораль», юному Флоренскому претили, и он их всячески отвергал внутренне, уходя от утопических идей о семье — прообразе «нового человеческого рода» и «сгустке чистейшей человечности» — в мир природы с ее тайнами и мистикой; как это ни странно, единственным табу, не нарушенным молодым Флоренским, был религиозный запрет, вследствие чего он в детском возрасте не только не узнал, что такое просфора, но и о чем повествуется в Евангелии от Матфея. Из отцовского дома Флоренский вынес не так уж мало полезного для своей будущей деятельности, однако его в целом справедливое осознание ограниченности миропонимания взрослых имело и негативный оттенок: он стал равнодушным к людям, не доверял им, по сути разделял отцовскую «невысокую» их оценку и «недолюбие» к ним *. «Воспоминания» пестрят иллюстра-

* Отношения Флоренского с родителями и, в особенности, с отцом представляют собою особую тему, разбор которой, по нашему мнению, не

циями этого рода, объясняя попутно, почему их автор сравнительно с опозданием заинтересовался феноменом человека.

III

На страницах автобиографической прозы Флоренского упоминается большое число его родственников по обеим линиям, но упоминания эти, за исключением отца ученого, не перерастают в сколько-нибудь *интимные* портреты. Образ матери, например, выступает в «Воспоминаниях» скорее всего в ипостаси Матери-Природы (Детям моим... С. 36), требующей не любви, а поклонения; к тому же мы ее видим чаще всего в роли носительницы всяческих запретов по отношению к сыну. Тетя Соня показана лишь мимоходом (в сцене, когда спасает утопающего мальчика-Флоренского, в экскурсе о музыкальных интересах членов семьи и пр.), причем в памяти автора запечатлелось, особенно, ее «негативное» поведение в истории с фельдшером, прививающим оспу. Из многих сестер и братьев Флоренского внимание уделено лишь сестре Люсе и брату Шуре; если сначала рисунок событий, относящихся к их портрету, по естественным причинам представляется нечетким (Флоренский лишь пытался припомнить образы, возникшие в его темном детском сознании), то впоследствии рассказ о братьях и сестрах и вовсе исчез из повествования или же юные герои (главным образом Люся) стали лишь более или менее бездейственными соучастниками того или иного события из жизни автора воспоминаний. Некоторое пренебрежение *живым* портретом лиц из ближайшего окружения Флоренского передано и в обрисовке города, где будущий ученый учился, — Тифлиса; он «всегда оставался <...> чужд», и Флоренский «враждебно выталкивался из него и выталкивал его из себя». Детские воспоминания в итоге венчают два показательных в этом отношении

вполне уместен без учета соответствующего «образца» — взаимоотношений Аркадия Долгорукого и Версилова в «Подростке» Достоевского. В этой связи любопытно, что Флоренский, в основном обращающий внимание на разность миропонимания его и его отца, в некоторых существенных моментах указывает и на их «родовое» сходство (ср. хотя бы утверждение, что «его глаза были для меня почти что моими» — в рассказе отца о комете), их общие интересы (например, любовь к Гете) и черты (плотность мысли, скепсис); с другой стороны, его отец, хотя и придерживался противоположной идеи непрерывности, тем не менее одобрял научные устремления сына и даже рекомендовал ему напечатать работу о прерывности как элементе мировоззрения.

символа — «злого человека» (фельдшера) и загадочных «жидов» — Янкелей, звуки фамилии которых по линии соответствий ассоциировались с ядом, мышьяком и «запретными» гроздьями зеленого винограда.

Юный Флоренский жил без друзей. С первым настоящим своим другом, рано умершим Сергеем Троицким, он познакомился, лишь поступив в Московскую Духовную академию; сколь это ни парадоксально, до этого тетя Юля была ему «и другом, и товарищем, и учителем» (Детям моим... С. 38), т. е. тем, кто объединял в себе «все человеческое». Не удалось завязать «близких отношений» и с бывшим учителем Владимиром Воробьевым, снабжавшим Флоренского книгами; с детьми же артистов Лилеевых Флоренский в основном ссорился, с ними связана и жуткая сцена его «богоборческого» поведения в результате неверной установки на «самостоятельность в отношении Бога и нежелание считаться с Ним». Самый интересный сюжет в этом отрезке воспоминаний относится к истории «дружбы» Флоренского с Александром Ельчаниновым. Попытка «подойти внутренне» к Ельчанинову кончилась для Флоренского полным провалом; «потребному одиночеству», к которому он вернулся после разрыва с «его покойным другом», предшествовала острая критика его «донжуанства», его «метафизического непостоянства» и его педагогической деятельности, якобы сеющей «душевную смуту» в воспитанниках. Разумеется, Флоренский был несправедлив к Ельчанинову, впоследствии все же выбравшему путь священника и ставшему автором любопытнейших воспоминаний о Флоренском.

Обладающий преимуществом лишь в сопоставлении с машиной, человек в представлениях Флоренского стоял ниже героев сказок и мифа. Прометей и Титаны им с детства «чувствовались *своими*», самый излюбленный его сказочный сюжет с принцессой, получившей известие о смерти жениха ее — принца, вызывал в Флоренском не «жалость», а любование «чем-то красивым». Здесь наглядно давало о себе знать отсутствие *нравственных* привязанностей в семье и, в особенности, в отношениях с матерью, бывших «не личными», «скорее пантеистическими, чем нравственными». Отсутствие в семье установок на нравственность позволяло в Янкелях видеть только «жидов» и «контрабандистов» (да и прямо обидеть, обозвав их «жидами»), а Достоевского оценивать только из аспекта его «истерии» («сплошной истерии») (Детям моим... С. 69), не принимавшейся в доме Флоренских и не получившей достойного истолкования в комментариях самого автора «Воспоминаний».

IV

Ошибочным, однако, было бы думать, что осмотрительное, настороженное, скептическое отношение Флоренского распространилось на всех взрослых, на людей как таковых. В разделе «Пристань и бульвар» он пишет: «Я отлично понимал, уже тогда понимал, что истину откроет мне лишь простой человек» (Детям моим... С. 52); «истина» в данном случае касалась утверждения няньки Флоренских, что в отверстиях деревянных свай и балок на дне морском живет «бука». Умственную доходчивость «простого человека» Флоренский ставил выше ума интеллигентского; об этом свидетельствует как его ссылка (в «Номо faber») на анекдот об «умном мужике» и астрономе *, так и ряд высказываний его собеседников по «Столпу» (старухи-служанки, старухи из Сергиева Посада, анонимного мужика и др.), мнения которых приравнивались автором к авторитету св. отцов Церкви. В «Воспоминаниях» даны краткие портретные зарисовки представителей этого типа людей, более близких природе, чем интеллигенты. К ним принадлежат, помимо няньки Романовой, образы мужественного фелюгщика, верного плотника Амираана, сторожа Ахмета, будка которого маленьким Флоренским считалась «собственным <...> домом» (Детям моим... С. 103), аджарцев, спасших жизнь его отцу; кавказцы для автора «Воспоминаний» были «слишком свои», и даже в образах негра и негритянки с детьми ему «чувствовалась кротость богатырей и открытость в природу» **. Когда Флоренский подчеркивал, что его сердцу «мила была незаметность, тихость, смирение», то он имел в виду именно этих простолюдинов, на «опыте живой веры» которых впоследствии строилась его теодицея; недаром в последнем абзаце «Воспоминаний», в котором автор впервые ищет ответа у *других*, «все человечество» представлено, наряду с «моими предками», также и *ими*, т. е. «крестьянами» и «дикарями» (Детям моим... С. 245). В данном вопросе Флоренский остался последовательным «популистом» до конца жизни, как явствует из одного из его последних писем: «Моя точка зрения совсем другая: человек везде и всегда был человеком и только наша надменность придает ему в прошлом или в далеком прошлом обезьяноподобие. Не вижу изменения человека по существу, есть лишь изменения внешних

* Флоренский П. Номо faber. С. 52.

** Отчуждение от мира взрослых приводило Флоренского порой к усилению интереса к разному рода «уродствам», к «диким народам» и даже к «людоедам». См. также рассказ Флоренского о фокуснике Роберте Ленце и его сеансе в Батуме с «проливанием крови» (Детям моим... С. 169—170).

форм жизни, даже наоборот. Человек прошлого, далекого прошлого, был человечнее и тоньше, чем более поздний, а главное — не в пример благороднее» *.

V

Весьма своеобразный интерес Флоренского к феномену человека в период, о котором повествуется в «Воспоминаниях», обусловлен рядом причин. Прежде всего его «философским символизмом» **, приверженность к которому он отмечал на разных этапах своего развития («я всегда был символистом», — писал он в разделе «Особенное»); как следует из «Столпа», итоговыми идеями этого сочинения Флоренский был обязан Достоевскому, однако в опосредованном виде — через Вяч. Иванова и его учение «Ты еси», венчающее ивановскую теорию «восхождения» — «неправого нисхождения» — «нисхождения», отголоски которой слышны в ряде мотивов и положений «Воспоминаний». С «символизмом» Флоренского соотнесено его понимание «таинственного» и «особенного», восходящее к «декадентным» строчкам Пушкина из «Пира во время чумы» и мировоззрению героев гофмановских «Серапионовых братьев», «Золотого горшка», «Зловещего гостя» и «Житейской философии Кота Мура»; человек в этих ситуациях выступал по меньшей мере «двойственным», лишь наслаждавшимся картиной хаоса, т. е. опять-таки далеким от осознанного культурного строительства для его преодоления. Такому положению вещей, далее, способствовала ориентация Флоренского на «любовь к противоречию» и «скепсис», унаследованная им из древнегреческих источников; недаром автор «Воспоминаний» полагал, что греческий миф был ему ближе русской мифологии леших и русалок, и называл себя «последним греком». По нашим наблюдениям, решительный поворот Флоренского в сторону построения антроподицеи произошел в результате его посещения Оптиной пустыни в 1905 году, давшего автору «Столпа» новое понимание «философии народа» как раскрытия «веры народа», а также взгляд на Оптину пустынь как завязь «новой культуры» ***. «Воспоминания» же свидетельствуют об

* Цит. по: *Флоренский П. В.* Павел Флоренский: реальности и символ // П. А. Флоренский: Философия, наука, техника. С. 50.

** *Хоружий С.* Указ. соч. С. 13.

*** Цит. по: *Игумен Андроник (Трубачев).* Священник Павел Флоренский и Оптина пустынь // П. А. Флоренский: Философия, наука, техника. С. 40—41.

иных воззрениях молодого автора и об ином миропонимании, в которых преобладало блестящее, но *субъективное* видение мира и его раздробленных, откликающихся друг в друге частей. Если на сюжет «Столпа» наложен отпечаток возможного развития Алеши Карамазова после смерти Зосимы, то «Воспоминания» в этом отношении выдержаны в ключе другого произведения Достоевского, а именно «Подростка» с его образом становящегося молодого героя, который обнаруживает свою «идею», лишь проходя через поиски родового тождества и личную «катастрофу».

